

ДОРОГА В НОЧЬ



Юрий Марушкин
Дорога в Ночь

«Автор»

2026

Марушкин Ю.

Дорога в Ночь / Ю. Марушкин — «Автор», 2026

Я родилась на скорости семьдесят четыре километра в час. Мама говорит, что это важно — скорость в момент рождения. Говорит, что именно поэтому я такая. Какая — она никогда не уточняет, только смотрит в зеркало заднего вида и чуть улыбается, и я понимаю, что это комплимент, хотя и странный. Папа говорит, что врёт — семьдесят восемь было, он точно помнит, потому что смотрел на спидометр, пока мама кричала. Они спорят об этом каждый год на мой день рождения. Это традиция. У нас много традиций

© Марушкин Ю., 2026

© Автор, 2026

Юрий Марушкин

Дорога в Ночь

ДОРОГА БЕЗ КОНЦА

Научно-фантастический роман

Автор: [имя автора]

=====
ЧАСТЬ I: СЕМЬДЕСЯТ КИЛОМЕТРОВ В ЧАС
=====

ГЛАВА 1 · АСФАЛЬТ

(Ева · пролог)

Я родилась на скорости семьдесят четыре километра в час.

Мама говорит, что это важно — скорость в момент рождения. Говорит, что именно поэтому

я такая. Какая — она никогда не уточняет, только смотрит в зеркало заднего вида и чуть улыбается, и я понимаю, что это комплимент, хотя и странный.

Папа говорит, что врёт — семьдесят восемь было, он точно помнит, потому что смотрел на

спидометр, пока мама кричала.

Они спорят об этом каждый год на мой день рождения. Это традиция.

У нас много традиций.

Сейчас три часа ночи, и я за рулём.

Это моя смена — с полуночи до четырёх. Потом папа, потом мама, потом снова я. Мы едем

так уже пятнадцать лет — точнее, они едут так двадцать девять, а я — пятнадцать, потому что раньше меня просто не было. Была только машина, дорога и два человека, которым дали ключи и сказали: езжайте.

Они и поехали.

Все поехали.

Дорога прямая. Дорога всегда прямая — или кажется прямой, потому что кольцо такое большое, что кривизну не чувствуешь. Пять тысяч километров. Я объехала их, наверное, раз сто или больше — я давно перестала считать, потому что считать бессмысленно, круг не имеет начала, не имеет конца, и каждый раз, когда мы проезжаем мимо отметки «0», я смотрю на неё и думаю: вот оно, начало. Вот оно, конец. Одно и то же место.

За рулём ночью думается иначе, чем днём. Днём папа что-то насвистывает, мама читает вслух из старых книг, которые мы возим в ящике под правым сиденьем, по радиации кто-нибудь обязательно говорит — Виктор Орлов читает своему Даниле лекцию по географии, или Сара Мирс спрашивает, нет ли у кого ибупрофена, или диспетчер «Ромео» своим вечным медовым голосом сообщает о плановых работах на участке с тысячного по тысяча пятидесятый километр, просьба сохранять скорость.

Ночью — тишина.

Я люблю тишину. Это, наверное, странно — любить тишину, когда двигатель всё равно гудит, всё равно шуршат шины, всё равно где-то позади тихонько посапывает мама. Но это

другая тишина. Это тишина, в которой можно думать.

Стена идёт справа.

Она всегда справа — если едешь по часовой стрелке, а мы всегда едем по часовой

стрелке, потому что так положено, потому что иначе нельзя, потому что все едут по часовой и если повернуть — не знаю, что будет, никто не знает, никто не пробовал, это даже не обсуждается, это просто так.

Стена бетонная, метров шесть в высоту, а поверх — ещё два метра металлической сетки с чем-то наверху, я не знаю с чем, снизу не видно. Через каждые пятьдесят метров — прожектор. Они бьют в темноту снаружи — туда, где радиация, где монстры, где всё то, от чего нас защищает стена. Прожектора не светят на нас, они светят от нас, и поэтому мы едем в узком тоннеле собственного света: фары вперёд, прожекторы стены — наружу, и между ними — дорога.

Наш мир шириной метров двадцать.

Двадцать метров в ширину и пять тысяч километров в длину, замкнутых в кольцо.

Я иногда думаю об этом — о форме нашего мира. Он похож на кольцо обручальное, только

без камня. Или на змею, которая кусает себя за хвост, — папа однажды рассказывал про такой символ, уроборос называется, из старых книг. Я тогда спросила, что это значит — змея, которая ест себя. Папа сказал: бесконечность. Или ловушка. Зависит от того, кто смотрит.

Папа иногда говорит такие вещи, а потом делает вид, что не говорил.

Слева — темнота.

Я имею в виду настоящую темноту — не ту, что за стеной, не радиационную тьму, где монстры. Слева просто нет стены. Слева — внутренняя часть кольца, открытое пространство, которое никак не огорожено, и если бы не было ночи, мы бы, наверное, видели там что-то — траву, или камни, или просто землю. Но ночью там просто ничего.

Чернота.

Иногда мне кажется, что эта чернота живая.

Папа говорит, что так не бывает. Мама говорит, что это называется парейдолия — когда мозг ищет паттерны там, где их нет. Я говорю, что знаю, как это называется, и всё равно мне кажется, что она живая.

Никто из нас не спорит слишком настойчиво. У нас в машине вообще не принято спорить настойчиво — места мало, деваться некуда, поэтому мы научились уступать в мелком и держаться в важном. Это тоже традиция.

Рация молчит.

В три ночи рация всегда молчит — почти все спят, дежурят только те, кто за рулём, и мы иногда перебрасываемся парой слов, но редко. Не принято тревожить без дела. Есть этикет — негласный, никто его не записывал, но все знают. Не занимай общий канал попусту. Не кричи, если не опасность. Если слышишь, что кому-то плохо, — отзовись.

Если

кто-то молчит слишком долго на своей частоте — проверь.

Мы живём в голосах.

Я думаю об этом иногда — что все эти люди, которых я знаю, существуют для меня только как голоса. Данила Орлов — это тенор с лёгкой хрипотцой и привычкой смеяться в конце фразы, даже когда не смешно. Сара Мирс — это сопрано на грани срыва, которое умеет быть очень тихим и очень громким, и ничего между. Дед Мирс — это низкий гул, как далёкий гром, и паузы, которые говорят больше, чем слова. Диспетчер «Ромео» — это вообще не человек, это голос, идеальный и пустой, как реклама из старых папиных историй.

Я не знаю, как они выглядят.

Я не знаю, как вообще выглядят люди, кроме нас троих.

Это нормально. Это всегда было нормально. Все так живут, и никто не жалуется, и

жаловаться, собственно, не на что, потому что так устроен мир — ты едешь, ты жив, ты в безопасности, и это уже очень много, папа говорит, это очень много, и он прав, я знаю, что он прав.

Просто иногда ночью, в три часа, когда рация молчит и дорога прямая и стена тянется справа, одинаковая через каждые пятьдесят метров — прожектор, бетон, прожектор, бетон, прожектор, — я думаю о вещах, о которых не принято думать.

Например: кто чинит прожектора?

Они иногда гаснут — один или два, плановая неисправность, диспетчер предупреждает заранее. Через несколько часов они снова горят. Кто их чинит? Где живут эти люди? Как они попадают к стене — изнутри? Снаружи?

Или: откуда берётся еда на стоянках?

На каждой стоянке нас ждёт горячее. Не тёплое — горячее, только что. Суп или каша, иногда что-то сложнее. Запчасти, лекарства, топливо. Всё стоит точно там, где надо, всё рассчитано на одну семью, всё свежее. Папа говорит — автоматика, подземные фермы, трубы с горячей едой, всё продумано заранее. Я говорю: папа, автоматика не варит суп с укропом. Укроп — это решение. Кто-то решил положить укроп.

Папа говорит: не задавай лишних вопросов.

Это его ответ на многое.

Мне через год — нулевой километр.

Я думаю об этом каждую ночную смену, потому что ночью некуда деться от мыслей.

Через

год — или чуть меньше, зависит от расписания — мы подъедем к стоянке 0, и папа обнимет меня, и мама будет держаться, и они скажут что-то важное, и потом уедут. А я останусь. И откуда-то приедет другая семья, и оставит своего ребёнка — мальчика или девочку, не знаю, — и мы с ним или с ней сядем в новую машину, и нам дадут ключи, и скажут: езжайте.

И мы поедем.

Я знаю, что это правильно. Я знаю, что так делают все. Я знаю, что мои родители тоже стояли вот так на нулевом километре — испуганные, шестнадцатилетние, с ключами в руках, — и посмотрите, как вышло: двадцать девять лет вместе, и они всё ещё смеются над одними и теми же историями, и мама кладёт руку папе на плечо, когда он устает, и всё хорошо.

Всё хорошо.

Просто я не хочу уезжать.

И ещё — и вот это я не говорю вслух, никогда, даже ночью сама себе говорю шёпотом — я не понимаю, почему именно так. Почему нельзя остановиться. Почему нельзя встретиться.

Почему нулевой километр — это единственный способ познакомиться с человеком, и то не

выбираешь, и то не видишь до последнего момента, и то не знаешь, кто это будет.

Почему вся наша жизнь — это ехать?

Дорога прямая.

Прожектор. Бетон. Прожектор. Бетон.

Спидометр — семьдесят шесть.

Я чуть убираю ногу с педали, и он падает до семидесяти четырёх, и я думаю: вот, мамина версия. Семьдесят четыре. Это скорость, на которой я родилась, и это скорость, на которой я еду сейчас, в три часа ночи, в темноте, в нашем мире шириной двадцать метров.

Рация молчит.

Я смотрю на стену.

Стена смотрит на темноту.

Темнота молчит тоже — но не так, как рация. Рация молчит просто потому, что все спят.

А

темнота молчит, как будто знает что-то, о чём я ещё не додумалась спросить.

Скоро четыре. Скоро папина смена.

Я подведу итог ночи, как всегда: дорога чистая, стена в норме, пробойн нет, скорость выдержана. Всё штатно. Всё хорошо.

Просто иногда ночью я думаю о вещах, о которых не принято думать.

И с каждым разом — всё труднее перестать.

ГЛАВА 2 · РОЖДЕНИЕ В ТЕМНОТЕ

(Лена · флэшбэк — 15 лет назад)

Я помню запах.

Это первое, что я вспоминаю, когда думаю о той ночи — не боль, не страх, не голос Марка, срывающийся с ровного на высокий. Запах. Горячий металл, машинное масло, резина, и

под всем этим — что-то живое, влажное, земляное, как будто где-то рядом была настоящая земля, хотя откуда ей взяться — вокруг только асфальт и бетон и темнота.

Потом я много раз думала: может, это был запах самой Евы. Новый человек пахнет именно

так — как что-то, что только что появилось из ниоткуда.

Той ночью тёмный участок начался в 23:41.

Я помню точное время, потому что Марк смотрел на часы и говорил вслух — у него есть эта привычка в моменты, когда он не знает, что делать: называть факты. Время. Скорость. Расстояние до следующей стоянки. Как будто цифры могут удержать мир на месте.

Тёмный участок — это когда прожектора на стене гаснут. Плановое или нет — неважно, результат одинаковый: ты едешь, и справа вдруг темнота, такая же, как слева, и дорогу видишь только в конусе собственных фар, и стена есть, ты знаешь, что она есть, но не видишь её, и это — я не могу объяснить людям, которые не жили на дороге, что значит не видеть стену. Это как ослепнуть на один глаз. Это как потерять половину мира.

Диспетчер предупредил за час: плановые работы на участке с двести семьдесят третьего по двести девяносто первый километр, прожектора будут отключены ориентировочно до двух ночи, сохраняйте скорость, не снижайте темп, всё штатно.

Марк тогда посмотрел на меня и сказал: — Успеем проехать до начала.

Мы не успели.

Мне было тридцать семь недель и четыре дня.

Марк говорил — ещё три недели, не меньше, первые дети всегда позже срока, его мать рожала на сорок первой неделе, и его, и его брата, это семейное. Я говорила — Марк, я не твоя мать, и ребёнок, судя по всему, тоже не читал твою семейную статистику.

Он читал нашу книгу по акушерству — старую, потрёпанную, с закладками из фантиков,

—

и конспектировал. По рации я консультировалась с Ниной Орловой, матерью Виктора, которая принимала роды трижды — свои два и соседке по прежнему временному слоту.

Нина говорила: главное не паниковать, главное дышать, главное — не останавливаться, что бы ни случилось, едьте.

Мы ехали.

Схватки начались в 22:15.

Я не сказала Марку сразу — думала, пройдёт, думала, ложная тревога, думала много чего.

Сидела на пассажирском и дышала в окно, и смотрела на стену, на прожектора, прожектор, бетон, прожектор, бетон, и считала секунды между.

В 23:10 сказала.

Марк съехал на обочину — насколько это возможно на нашей дороге, там нет настоящей обочины, просто чуть правее основной полосы, почти у самой стены, — и включил аварийку. Потом вспомнил, что нельзя останавливаться, и тронулся снова. Потом снова почти остановился. Потом поехал — не останавливаясь, но медленно, шестьдесят, что уже

нарушение, диспетчер через три минуты вышел на связь: 3-29, скорость ниже допустимой, подтвердите статус.

Марк сказал в рацию: — У нас роды.

Пауза.

— 3-29, подтвердите: роды?

— Подтверждаю, — сказал Марк. — Роды. Тридцать семь недель. Что делать?

Долгая пауза. Я потом думала об этой паузе много раз. Что происходило на другом конце в

эти секунды — растерянность? Консультация с кем-то? Поиск инструкции в справочнике?

— 3-29, сохраняйте скорость не ниже семидесяти. При необходимости используйте аварийный медицинский протокол, папка красная, бардачок. Удачи.

И всё.

Марк открыл бардачок. Достал красную папку. Положил на колени, не открывая — потому

что руки на руле, потому что скорость, потому что в 23:41 прожектора на стене погасли, и мы въехали в темноту.

Темнота была полная.

Наши фары давали конус — метров тридцать вперёд, не больше. Стена справа исчезла. Небо исчезло — оно и так не светит, там нет звёзд или они скрыты за чем-то, мы никогда не видим звёзд, но ночью хотя бы чувствуешь, что небо есть, что над тобой что-то. В темноте — ничего. Только дорога в конусе фар, и мы в этом конусе, и за ним — нигде.

— Лена, — сказал Марк.

— Я знаю, — сказала я.

— Я сейчас.

— Я знаю, Марк.

Он одной рукой держал руль. Второй — тянулся назад, на заднее сиденье, где был наш ящик с инструментами. Я слышала, как он роется, слышала металлический звон, стук, снова звон. Рация пищала что-то — я не слушала. Я дышала.

Потом я услышала другой звук — снаружи. Со стороны стены.

Сначала я решила, что показалось. Потом решила, что это ветер — хотя какой ветер, октябрь, и вообще мы редко чувствуем ветер в машине. Потом поняла, что это не ветер.

Что-то шло вдоль стены.

Я не видела — было темно. Но я слышала: мерный тяжёлый шаг, не торопливый, методичный, как будто кто-то очень большой просто идёт вдоль стены и не обращает на нас внимания. Или обращает — но не торопится.

— Марк, — сказала я очень тихо.

— Вижу, — сказал он, хотя видеть было нечего. — Не смотри. Смотри на меня.

Марк — я хочу, чтобы Ева это знала когда-нибудь, хотя никогда не скажу вслух в нужных словах, — Марк в критических ситуациях становится другим человеком. Не лучше и не хуже — просто другим. Исчезает всё лишнее: тревога, сомнения, привычка называть

факты, — и остаётся только действие. Руки, глаза, решение.

В темноте, на скорости семьдесят два километра в час, пока за стеной шло что-то тяжёлое и методичное, он собрал прожектор.

Я не знаю, как это назвать иначе. У нас в инструментальном ящике давно лежали запасные фонари — мощные, автомобильные, он купил их три стоянки назад, я спросила зачем, он сказал: на всякий случай. Марк всегда готовится на всякий случай. Я думала — для ремонта, для осмотра под капотом ночью.

Оказалось — для этого.

Одной рукой на руле, второй — он соединил два фонаря хомутами с боковым зеркалом, протянул провод к прикуривателю, закрепил скотчем, которым у нас обмотан весь инструментальный ящик снаружи. На всё ушло, наверное, четыре минуты. Может, пять.

Я в

это время дышала и смотрела на него и не на стену, как он велел, и слушала шаги за стеной.

Потом он щёлкнул выключателем.

Свет ударил в темноту справа — не ровный, дрожащий, потому что дорога неровная и машина вибрирует, но яркий, очень яркий, и в этом дрожащем свете появилась стена. Бетон. Серый, настоящий, с тёмными потёками влаги и старыми царапинами внизу — длинными, горизонтальными, как будто что-то тянулось вдоль и задевало. Стена была там. Стена стояла.

За ней — ничего видно не было. Только стена.

Шаги стихли.

Марк выдохнул. Я выдохнула. Схватка накатила — сильная, долгая, я вцепилась в ручку над дверью и считала, как учила Нина: раз, два, три, дыши, не задерживай, четыре, пять. — Держись, — сказал Марк. — Ещё немного.

— Это ты мне или себе? — спросила я между счётом.

Он помолчал.

— Обоим.

Ева родилась в 00:23.

Скорость в этот момент была семьдесят четыре километра в час — мама права, я потом смотрела, Марк записал в журнал сразу, как только смог, там стоит: 00:23, девочка, 3,1 кг, скорость 74.

Папа говорит семьдесят восемь — он врёт. Он просто не хочет, чтобы мама выиграла этот спор.

Я приняла роды сама — Марк не мог отпустить руль, тёмный участок ещё не кончился, его

самодельный прожектор держал стену в луче и не давал темноте залезть обратно. Он говорил мне что делать — по памяти, из красной папки, которую он прочёл ещё днём и, видимо, выучил, потому что говорил ровно и точно, без запинок.

Когда Ева закричала — первый раз, громко, возмущённо, как будто уже тогда хотела сказать что-то важное и не находила слов, — Марк закрыл глаза на секунду.

Только на секунду.

Потом открыл. Скорость упала до шестидесяти восьми — единственный раз за всю ночь, когда он не удержал. Рация снова пищала, диспетчер что-то говорил, я не слушала.

А потом стена снаружи ответила.

Я не знаю, как это описать точно — потому что точно я не знаю, что это было.

Удар. Не один — несколько, быстрых, как будто кто-то бежал вдоль стены и бил по ней на ходу. Бетон гудел. Наш самодельный прожектор качнулся, луч прыгнул вверх, на секунду осветил верх стены — сетку, что-то тёмное за сеткой, движение, — и упал обратно.

Ева кричала.

Стена гудела.

Марк прибавил газ.

Я держала Еву и смотрела на Марка, на его руки на руле, на белые костяшки, и думала — сейчас не страшно. Странно, но сейчас не страшно. Страшно было раньше, когда темнота только пришла, когда я ещё не держала в руках этого человека, который только что появился из ниоткуда и кричал так, как будто уже всё про этот мир знал и уже был недоволен.

Сейчас — не страшно.

Сейчас нас было трое.

В 00:51 прожектора на стене зажглись.

Плановые работы завершены, участок в норме, сохраняйте скорость — диспетчер «Ромео», ровный, медовый, как ни в чём не бывало.

Марк отключил самодельный свет. Снял хомуты с зеркала одной рукой, не останавливаясь. Сложил фонари обратно в ящик. Всё аккуратно, всё на место. Потом посмотрел в зеркало заднего вида — на меня, на Еву, которая уже не кричала, просто смотрела в потолок тёмными, широкими, совершенно невозможными глазами.

— Как её назовём? — спросил он.

Я смотрела на неё. На эти глаза. На то, как она уже тогда — в первые минуты — смотрела не просто в потолок, а как будто что-то там искала. Изучала. Задавала вопросы потолку, на которые потолок не отвечал.

— Ева, — сказала я.

Марк помолчал. Потом кивнул.

— Ева, — повторил он, как пробует слово на вкус. — Хорошо.

За окном тянулась стена. Прожектора снова горели через каждые пятьдесят метров — ровно, надёжно, как всегда. Темнота снаружи была отогнана обратно, куда ей и положено. Дорога была прямая. Спидометр — семьдесят четыре.

Всё было хорошо.

Мы ехали.

Это я помню лучше всего — не боль, не удары в стену, не шаги в темноте.

Я помню, как Ева смотрела в потолок.

Как будто уже тогда знала, что потолка — мало. Что нужно смотреть дальше.

Я тогда не понимала, что это значит. Я думала — это просто ребёнок, это просто рефлекс, это просто первые минуты жизни и широкие глаза, которые ещё не умеют фокусироваться.

Теперь — понимаю.

Она с самого начала искала ответы на вопросы, которые ещё не успела задать.

ГЛАВА 3 · СМЕНИ

(Марк · настоящее время)

Шесть утра — моя смена.

Лена трогает меня за плечо из темноты заднего сиденья — не будит, просто предупреждает: пора. Она так всегда делает, уже двадцать девять лет, и я каждый раз просыпаюсь раньше прикосновения — за секунду, за две, — потому что тело запомнило расписание лучше любых часов. Шесть утра — Марк. Десять — Лена. Два дня — Ева. Шесть вечера — Марк. Десять вечера — Лена. Два ночи — Ева. И так по кругу, как всё остальное на этой дороге.

Ева спит на пассажирском — откинула спинку до упора, натянула на голову куртку, из-под которой торчат только волосы. Тёмные, как у Лены, и такие же непослушные — всегда во

все стороны, всегда мешают, она их убирает резинкой, которую носит на запястье, и тут же забывает и снова убирает.

Я осторожно перебираюсь на водительское место, стараюсь не задеть её коленом. Не получается — она дёргается, что-то бормочет, куртка съезжает с головы.

— Пап, — говорит она, не открывая глаз.

— Спи.

— Угу.

Куртка уезжает обратно на голову. Я устраиваюсь за рулём, берусь за него двумя руками — привычка, рефлекс, двадцать девять лет — и смотрю вперёд.

Дорога прямая.

Всегда прямая.

Я люблю утреннюю смену.

Это странно, наверное, потому что смены ничем не отличаются — та же дорога, та же стена, те же прожектора через каждые пятьдесят метров. Но утром есть что-то. Небо за стеной начинает светлеть — не по-настоящему, солнца мы не видим, оно скрыто за чем-

то

вечно серым, за облаками или пылью или чем там ещё, — но светлеет. Темнота становится серой, серость становится светлее, и в какой-то момент ты вдруг видишь, что верхушка стены нарисована на фоне неба, а не на фоне ничего.

Это моё любимое время.

Я никому об этом не говорил. Не потому что стыдно — просто незачем. У нас у каждого есть что-то своё. У Лены — первые пять минут после того, как заварит чай и обхватит кружку двумя руками и смотрит в окно. У Евы — ночная смена, хотя она думает, что я не знаю. Я знаю. Я вижу по тому, как она садится за руль в полночь — немного прямее, чем обычно, немного тише.

У меня — рассвет.

В семь пятнадцать Лена просыпается и начинает завтрак.

В нашей машине задняя часть переделана — это моя работа, несколько лет назад, на нескольких стоянках подряд. Снял спинки задних сидений совсем, поставил узкий мат-

рас

вдоль левого борта, над ним — полки. На полках: консервы, крупы, инструменты, книги, аптечка, запасные части к двигателю, которые я собираю на каждой стоянке — на всякий случай. У нас нет ничего лишнего, потому что лишнего некуда деть, и нет ничего необходимого, которого бы не было.

Лена ставит горелку на специальную подставку между матрасом и стенкой. Зажигает. Ставит котелок с водой. Всё это на ходу, на скорости семьдесят шесть, и она ни разу за двадцать девять лет ничего не разлила — только однажды, в самом начале, когда мы только учились, и тогда это была ещё не Лена-которую-я-знаю, а Лена-которой-шестнадцать-лет-и-она-впервые-держит-котелок-в-движущейся-машине.

Та Лена разлила всё и расплакалась.

Эта Лена — никогда.

— Каша или консервы? — спрашивает она.

— Каша.

— Ева проснётся — будет каша.

Это тоже традиция. Ева не любит кашу. Каждое утро Лена спрашивает, каждое утро я говорю кашу, каждое утро Ева просыпается и говорит: опять каша. Потом ест.

— Пап.

Ева откинула куртку и смотрит в потолок. Это её стандартное пробуждение — не сразу встать, сначала полежать и посмотреть в потолок. Я иногда думаю, что она там что-то

видит, что нам с Леной не видно.

— Доброе утро.

— Который час?

— Половина восьмого.

— Каша?

— Каша.

Она вздыхает — не недовольно, а скорее театрально, это игра, у нас много таких игр.

Садится, волосы во все стороны, тянется за резинкой на запястье.

— Что на дороге?

— Чисто.

— Стоянка когда?

— Через сто сорок километров.

— Стена?

Я смотрю вправо — привычка, рефлекс, двадцать девять лет.

— Норма.

Она кивает. Это тоже традиция — утренний брифинг, мы так это не называем, это просто разговор, но всегда один и тот же разговор, всегда в одном порядке. Дорога, стоянка, стена. Потом уже — всё остальное.

Завтрак мы едим так: Лена и Ева на заднем матрасе, я за рулём, Лена передаёт мне миску, когда уже готово. Ем одной рукой. Это звучит неудобно — это неудобно, первые лет пять я постоянно ронял ложку, — но потом привыкаешь, и рука сама находит рот, и глаза не уходят с дороги.

Утром рация оживает.

— Доброе утро, три-двадцать девять, — говорит Виктор Орлов. Три-двадцать восемь, едет

на полкруга впереди, но по рации — рядом. У него хороший голос, учительский, ровный. Он и правда был учителем — до дороги, в прошлой жизни, которую помнит смутно, как сон. — Как ночь?

— Спокойная, — говорю я. — У вас?

— Тоже. Данила рассказывал про вчерашний разговор с Евой. — Пауза, в которой слышна

улыбка. — Умная девочка.

Ева на заднем сиденье притворяется, что очень занята кашей.

— Данила сам ничего, — говорю я.

— Он краснеет, когда слышит её голос, — говорит Виктор. — Думает, я не вижу. Вижу.

— Па-а-а-а, — раздаётся из рации — голос Данилы, где-то на заднем плане, возмущённый.

— Три-двадцать восемь, не занимай канал личными делами, — серьёзно говорит Виктор

—

и смеётся сам первый.

Ева смотрит в окно и тоже улыбается, думая, что никто не видит. Лена видит. Я вижу в зеркало.

Мы ничего не говорим.

В девять утра у меня плановое обслуживание.

Это моё — никто в машине этого не делает, только я, с самого начала. Каждое утро, на ходу: проверяю давление масла по щупу — приспособился вытаскивать его в движении, это требует определённой акробатики, — смотрю на температуру двигателя, слушаю.

Слушаю особенно. У каждого двигателя есть голос, и когда голос меняется — я слышу раньше, чем любой прибор.

Наша машина — мне она досталась на нулевом километре двадцать девять лет назад, стандартная, как у всех, — давно уже не совсем стандартная. Я её чинил столько раз, что не уверен, осталась ли хоть одна родная деталь. Двигатель менял дважды — полностью. Кузов латал в восьми местах. Ходовую перебирал три раза. Электрику — не счесть. На стоянках я собираю запчасти. Всегда. Пятнадцать минут — быстро, и я знаю, где что лежит на каждой стоянке нашего маршрута, потому что они повторяются каждые пять тысяч километров. Прокладка вот тут. Масло вон там. Провода — в том ящике. Я забираю

что могу. Про запас. На всякий случай.

Лена говорит: у тебя половина машины — «на всякий случай».

Я говорю: а вторую половину я уже использовал.

Она не спорит.

В десять — её смена.

Я пересаживаюсь назад, она — вперёд. Мы делаем это не останавливаясь: сначала я торможу до минимума — шестьдесят восемь, семьдесят, не ниже, — она готовится,

потом

я отпускаю руль на секунду, она перехватывает, и мы как-то оба меняемся местами, не задевая Еву, не роняя ничего с полок.

Со стороны это, наверное, выглядит как цирк.

Изнутри — как дыхание. Просто вдох и выдох.

Ева ест вторую кашу — она всегда ест вторую, хотя каждое утро жалуется на первую, — и читает. У нас много книг: папины, мамины, те, что были в машине изначально, те, что мы подбирали на стоянках — иногда там оставляют книги, специально, для следующих. Ева читает всё подряд. Атлас, которого уже нет — мест, которые в нём нарисованы, больше не существует, — и романы, и справочник по двигателям внутреннего сгорания, который

она

выучила лучше меня, и старые журналы с рецептами блюд, которые нам никогда не приготовить.

— Пап, — говорит она, не отрываясь от книги.

Я укладываюсь на матрас. Натягиваю куртку — спать на заднем всегда холоднее, там дует из щели в кузове, которую я латал дважды и залатаю в третий раз.

— Угу.

— В этой книге написано, что раньше люди видели небо каждый день.

— Видели.

— Ты видел?

Я думаю.

— Нет. Я родился после.

— А дед видел?

— Дед видел.

Молчание. Только дорога и двигатель и шины.

— Каким оно было?

— Синим, — говорю я. — Он говорил — синим. Иногда серым. Иногда розовым на закате.

Ева смотрит в окно — в сторону стены, за которой небо. Серое. Всегда серое.

— Закат, — говорит она, как пробует слово. — Красиво звучит.

— Спи, — говорит Лена с водительского.

Ева не спит. Она смотрит в окно ещё долго — я слежу краем глаза, как она смотрит, — и только потом берёт книгу снова.

В половине первого я не сплю и чиню фонарь.

Тот самый — один из двух, которые я собрал пятнадцать лет назад в темноте, на скорости семьдесят четыре. Они до сих пор у нас, я их обслуживаю регулярно, они всегда наготове. Лена однажды спросила — зачем, мы уже столько лет без тёмных участков, давно не случилось. Я сказал: потому что случилось. Она не стала спорить.

Контакт окислился, нужно зачистить — я делаю это надфилем, аккуратно, не торопясь. Ева наблюдает. Она всегда наблюдает, когда я что-нибудь чиню, с трёх лет — сначала просто смотрела, потом начала спрашивать, потом начала помогать, потом я понял, что она понимает в двигателях не хуже меня.

— Дай, — говорит она.

Я отдаю надфиль. Она работает — быстро, точно, без лишних движений.

— Хорошо, — говорю я.

Она пожимает плечами. Не из скромности — просто это очевидно для неё, очевидное не требует реакции.

— Пап.

— Угу.

— Если бы прожектора на стене всегда работали, ты бы сделал эти?

Я смотрю на фонарь в её руках.

— Наверное, нет.

— А если бы сделал, а они негодились?

— Не жалел бы.

Она думает об этом.

— Почему?

— Потому что лучше иметь и не использовать, чем использовать и не иметь.

Долгое молчание. Надфиль скребёт по контакту.

— Пап, кто готовит еду на стоянках?

Я знал, что этот вопрос сегодня будет. Она спрашивает его раз в несколько недель — по-разному, с разных сторон, как будто ищет угол, с которого я отвечу иначе.

— Система, — говорю я. — Автоматика.

— Сегодня был укроп.

— Автоматика может добавить укроп.

— Кто её программирует?

— Специалисты. На подземных фермах.

— Где подземные фермы?

— Под дорогой. Вдоль маршрута.

— Мы никогда не видели входа.

— Потому что они закрыты. Для безопасности.

Она молчит. Возвращает мне надфиль. Фонарь — мне.

— Хорошо, — говорит она.

Это не значит, что она согласна. Это значит — пока достаточно, продолжим в другой раз.

Я знаю разницу. Я её отец, я знаю все её молчания.

В два часа — её смена.

Лена пересаживается назад. Ева — вперёд. Руки на руль, спина прямая, взгляд на дорогу. Она садится за руль иначе, чем мы с Леной — немного напряжённее в плечах, как будто ждёт чего-то. Лена говорит — это молодость. Я думаю — это она.

— Стена? — спрашивает она.

— Норма, — говорю я.

— Стоянка?

— Через двести двадцать.

— Рация?

— Тихо.

Она кивает. Берёт рацию, переключает на свою частоту — ту, на которой говорит с Данилой по ночам, хотя сейчас день. Или просто проверяет. Или просто держит в руке. Я закрываю глаза.

Двигатель гудит ровно — я слушаю даже сквозь сон, двадцать девять лет, это уже не привычка, это часть меня. Пока гудит ровно — всё хорошо. Пока шины шуршат без лишнего — всё хорошо. Пока Лена дышит рядом ровно, и Ева впереди сидит прямо, и дорога прямая, и стена справа, и прожектора через каждые пятьдесят метров —
Всё хорошо.

Мы едем.

Вот что я знаю о счастье.

Я не думал об этом специально — о счастье, о его определении. Это не мой тип вопросов. Мой тип вопросов — давление масла, ресурс ремня ГРМ, сколько литров топлива до следующей стоянки. Практические вопросы. Вопросы с ответами.

Но иногда — вот так, в дрёме, между сменами, когда Ева за рулём и Лена рядом и двигатель гудит ровно — я думаю: это оно. Именно это. Не потому что идеально, не потому

что без страха, не потому что без вопросов. А потому что мы трое в одной машине, и мы едем, и пока едем — мы вместе.

Через год — нулевой километр.

Ева уедет. Мы останемся вдвоём — я и Лена, как в самом начале, только теперь уже другие. И это будет правильно, и это будет больно, и я уже сейчас знаю, что буду смотреть на пустое пассажирское место ещё долго после.

Но сейчас — сейчас она за рулём.

Сейчас всё хорошо.

В шесть вечера — снова моя смена.

Я просыпаюсь раньше прикосновения — за секунду, за две.

Тело помнит.

ГЛАВА 4 · ГОЛОС ИЗ ЭФИРА

(Ева + Данила · рация)

Данила Орлов первый раз заговорил со мной, когда мне было двенадцать.

Не первый раз вообще — по общему каналу мы слышали друг друга с детства, как слышим

всех соседних машин, это просто фон, это просто голоса вокруг, как шум двигателя или шорох шин. Но первый раз — именно со мной, специально, на нашей частоте, — мне было

двенадцать, и была ночь, и я дежурила, и вдруг в наушнике: «Три-двадцать девять, это три-двадцать восемь. Ты не спишь?»

Я не спала.

«Не сплю», — сказала я.

«Хорошо», — сказал он. И замолчал почти на минуту.

Потом: «Просто хотел знать».

Мне было двенадцать. Ему — тринадцать. Я не знала, как выглядит тринадцатилетний мальчик. Я не знала, как выглядит вообще кто-либо, кроме папы и мамы. Он был голосом — ломающимся, с паузами в неожиданных местах, иногда смешным, иногда серьёзным, всегда — узнаваемым.

С тех пор прошло три года.

Сегодня — его инициатива. Он выходит на связь в половину третьего, когда я за рулём

уже почти час и дорога прямая и скучная и мозг начинает делать то, что мозг делает ночью на прямой дороге — думать о вещах, о которых лучше не думать.

— Три-двадцать девять.

— Слышу, три-двадцать восемь.

— Как едетя?

— Нормально. Стена в норме, стоянка через сто восемьдесят, скорость семьдесят шесть. Он смеётся — тихо, в нос, это его фирменное. — Я не диспетчер «Ромео», можно без протокола.

— Старая привычка.

— Твой папа так научил?

— Все так говорят. Это вежливо.

— Я знаю, — говорит он. — Мой папа тоже. Только он добавляет «пожалуйста» в конце. Три-двадцать девять, скорость семьдесят шесть, пожалуйста.

Я улыбаюсь в темноту. Он не видит — никто никогда не видит, — но это не важно. Или важно, но по-другому.

Мы вычислили это вместе. Я не помню, кто первый заговорил об этом напрямую — кажется, он, потому что я бы ещё долго ходила вокруг, — но вычисляли точно вместе, постепенно, на протяжении нескольких месяцев.

Началось с простого: Данила спросил, сколько мне лет. Пятнадцать. Ему — шестнадцать

в

мае. Потом: машины соседние, мы в постоянном слоте рядом уже столько лет, что это не случайность — слоты не меняют без причины. Потом: папа однажды сказал что-то, что не досказал — «когда придёт время», — и замолчал. Потом: мама Данилы спросила его, умеет ли он готовить. Зачем? Он умеет — его учили.

По отдельности — ничего. Вместе — очевидно.

— Ты думала об этом сегодня? — спрашивает Данила.

Я знаю, о чём он. Мы никогда не называем это прямо. Нулевой километр — это вслух, но что за ним, кто именно, когда — это мы обходим, как объезжают выбоину на дороге: знаешь, что она там, рулишь мимо.

— Думала, — говорю я.

— И?

— И ничего. Думала и всё.

Молчание. В рации — лёгкий шорох, это он перекладывает наушник с одного уха на другое, я уже знаю этот звук.

— Я посчитал, — говорит он наконец. — Если по расписанию, и если нас действительно... то есть если нас, то мне через полгода шестнадцать, тебе через год. Стоянка ноль — раз в три месяца по общему каналу объявляют. Следующая — через семь месяцев примерно. Я молчу.

— Это я просто посчитал, — говорит он быстро. — Не то чтобы... просто цифры.

— Я знаю.

— Ты не против, что я посчитал?

Станный вопрос. Я думаю, откуда он взялся, этот вопрос, — и понимаю: он не знает, как я к этому отношусь. По-настоящему не знает. Три года разговоров, и он всё равно не знает — потому что я никогда не говорила.

— Нет, — говорю я. — Не против.

— Слушай, — говорит он через какое-то время. — Можно странный вопрос?

— У тебя все вопросы странные.

— Это не ответ.

— Можно.

Пауза. Он собирается — я чувствую это даже через рацию, даже через триста километров, которые между нами, потому что три года учишь интонации человека лучше, чем его лицо, которого не видел.

— Ты когда-нибудь думала — каково это, увидеть человека?

Я не отвечаю сразу. Смотрю на дорогу. Проектор, бетон, проектор, бетон.

— Думала, — говорю я наконец.

— И как ты это представляешь?

Как я это представляю. Я смотрела на фотографии в старых журналах — там иногда люди, незнакомые, далёкие, плоские, бумажные. Я смотрела на маму и папу, но это не то, это просто мои мама и папа, это не «человек», это они. Настоящий незнакомый человек — я не знаю.

— Наверное, странно, — говорю я. — Видеть, что голос имеет лицо.

— У всех голосов есть лица.

— Но мы их не видим. Поэтому голос — это и есть человек. А лицо — это что-то лишнее. Дополнительное.

Он думает об этом.

— Может, наоборот, — говорит он. — Может, лицо — это главное, а голос — дополнительное. Просто мы привыкли без лиц.

— Привыкли.

— Ты боишься? — спрашивает он. — Нулевого.

Вот оно. Прямо. Он всё-таки сказал.

Я думаю: боюсь ли я. Не в смысле — страшно ли мне абстрактно, а конкретно. Стоять на стоянке ноль. Слышать, как уезжают мама и папа. Смотреть на незнакомую машину.

Смотреть на незнакомое лицо.

— Не знаю, — говорю честно. — Наверное, да. А ты?

— Я тоже не знаю, — говорит он. И добавляет, тихо, почти себе: — Но если это ты, то, наверное, меньше боюсь.

Я молчу.

Проектор. Бетон. Проектор. Бетон.

— Ты мне хоть нравишься голосом, — говорит он — и в этом слышна улыбка, та же, что всегда, когда он пытается сделать серьёзное несерьёзным. — На случай если ты беспокоилась.

— Я не беспокоилась.

— Ну и хорошо.

— Ты мне тоже, — говорю я. — Голосом.

Пауза.

— Правда?

— Правда.

— Это, — говорит он, — лучшее, что мне сегодня сказали.

Мы разговариваем ещё час — ни о чём, обо всём. Он рассказывает, как папа сегодня три раза объяснял ему теорему Пифагора, потому что думал, что Данила не понял, хотя Данила понял с первого раза и просто слушал из уважения. Я рассказываю про фонарь, который папа чинил днём, и про укроп в супе на последней стоянке. Он смеётся — с этой своей хрипотцой и смехом в конце фразы. Я смотрю на дорогу.

В четыре часа — папина смена.

Перед тем как переключиться обратно на семейную частоту, я говорю:

— Данила.

— Слышу.

— Ты правда посчитал? Семь месяцев?

— Правда.

— Я тоже, — говорю я. — У меня тоже семь. Я просто не говорила.

Долгое молчание.

— Ева, — говорит он наконец.

— Что?

— Ничего, — говорит он. — Просто — Ева.

Я не знаю, что это значит. Или знаю, но не называю.

— Спокойной ночи, три-двадцать восемь.

— Спокойной ночи, три-двадцать девять.

Рация замолкает. Я смотрю на дорогу ещё несколько минут — прожектор, бетон, прожектор, бетон, — и думаю о том, каково это, когда голос имеет лицо.

Наверное, страшно.

Наверное, хорошо.

Я не знаю пока.

ГЛАВА 5 · ЛЕГЕНДА

(Дед Мирс · общий канал)

Дед Мирс рассказывает легенду раз в год.

Не по расписанию — он никогда ничего не делает по расписанию, кроме еды и сна, и то не всегда. Просто в какой-то день, в какое-то время, открывает общий канал и говорит:

«Хотите послушать про Коваль и Пеппер?» И все, кто в эфире, замолкают и слушают.

Даже те, кто слышал уже много раз. Даже те, кто выучил наизусть.

Потому что дед Мирс — единственный, кто слышал их голоса.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.